

ОТ АВТОРА

Вс. СУРГАНОВ

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ

Эта статья — журнальный вариант одной из глав книги «Человек на земле», над которой я работаю уже не первый год. Размышления о поиске русских советских прозаиков, пишущих колхозную деревню, естественно уводят к самым истокам темы. Они зачинаются еще в предоктябрьских глубинах времени, в прометеевом труде Горького и заботливо пестуемых им художников революционного крестьянского корня, стремящихся поведать новую правду о российской деревне, пробудившейся к борьбе. Герои И. Вольнова, А. Неверова, С. Подъячева, Л. Сейфуллиной вскоре встанут в один строй с Чапаевым и Кожухом, с партизанами Вс. Иванова, а тема революционной деревни побратается с темой гражданской войны.

Далее плодоносную борозду ведут М. Шолохов и Ф. Панферов, Н. Кочин и П. Замойский, Дм. Зорин и К. Горбунов, И. Макаров и И. Шухов — богатыри-первопроходцы времен «великого перелома». С их книгами и открытиями вскоре перекликнутся писатели пятидесятих годов, и прежде всего прославленная плеяда «разведчиков весеннего боя» во главе с В. Овечкиным. Открывшие новую, уже современную нам страницу колхозно-деревенской темы, они — во всяком случае очень многие из них — продолжают ее осваивать в самых разных направлениях.

О том, как все это происходило, я пытался рассказать в предшествующих статьях-главах моей будущей книги, публиковавшихся за последние годы. Этому же посвящены и «Тугие узлы». Проблема партийного руководства, исследуемая авторами произведений, о которых здесь говорится, не случайно привлекла многих талантливых художников. Связанные с ней социально-психологические конфликты оказались в самом центре нашей хозяйственной, политической и общественной жизни, иные же и поныне сохраняют актуальность и остроту.

Вот почему герои и книги, о коих говорится в этой статье — даже те, которые по времени появления удалены от нас без малого на двадцать лет, — уже став в какой-то мере историей советской литературы, в то же время продолжают находиться в активе современного общественного и литературного процесса.

О доле не один километр чавкающей апрельской дороги, мы с одируким бригадиром перебрались на дощанике через разлившуюся речку. Десятка два изб было брошено по крутому косоугру противоположного берега, уткнувшего глинистый загривок в закатную воду. У воды шумно возилось несколько мальчишек. Один из них и пригнал нам лодку для переправы.

Взрослых колхозников не было видно на улице. И если бы не занавески на окнах, не детские голоса у реки, деревню можно было бы считать нежилой. Но именно здесь весной 1959 года, когда мне впервые довелось посетить Новгородщину, в одном из самых отдаленных колхозов была сделана попытка начать соревнование за коммунистический труд и быт.

Семь девушек и женщин в поношенных стеганках и лыжных шароварах, запроваленных в высокие резиновые сапоги, делали все что могли, чтобы поддержать это начинание. За каждой из них было закреплено по одиннадцать-двенадцать коров. Все животные выглядели чистыми и не очень исхудали за зиму. Они похрустывали у кормушек соломой, а длинный проход между стойками был выскоблен и даже, кажется, вымыт. Подруги взялись надоть по 2300 литров на фуражную корову — немалая и нелегкая по тому времени и в тех местах задача. Но они считали, что справиться с нею все-таки можно («...если, конечно, правление с кормами не подведет...»). И работа спорилась в их обветренных, натруженных руках. Оживленно переговариваясь, доярки таскали корм, а над женскими фигурами в стеганках, над бурой крышей коровника догорал апрельский закат. Там, в вышине, вдруг возник могучий басовитый гул. Намного опережая его, бесшумно понеслась в сторону заката громадная и, словно невесомая, серебряная стрела. Рейсовый «ТУ-104» летел из Москвы в Ленинград. Появление его над деревней было делом самым обыкновенным — занятые работой колхозницы только глянули мимоходом.

Мне же при виде великолепного реактивного лайнера, проносщегося над стареньким коровником и посережним за зиму коннами, живо припомнился главный герой панферовского «Раздумья» — Аким Морев, его размышления о резком несоответствии между заполненной светом и грохотом строительной площадкой Приволжской гидроэлектростанции и темной улицей села, примостившегося рядом с дамбой. Нетерпеливое и давнее желание навсегда покончить с «горбатой деревней», с очевидными контрастами нашего времени определяло ход этих раздумий.

Секретарь Приволжского обкома партии, только что принявший под свою команду огромное и сложное хозяйство, Морев, по замыслу писателя, должен был с первых же шагов противостоять начетчикам и догматикам, с одной стороны, и жуликам-«штукарям» — с другой. Надо сразу же подчеркнуть, что у него, собственно, и не было иных противников. В глазах Панферова в пору работы над «Раздумьем» (1952—1958) ведущий конфликт современности выступал

как лобовое столкновение «живой жизни» с книжной догмой, с психикой перерожденца, оторвавшегося от народа: явлений резко определенных и очерченных. Не случайно и «штукари» Семин с Гараниным, и начетчики Ростовцев и Сухожилки предстают перед нами почти окаркатуренными. Заранее определен и результат их столкновения с Моревым.

Такое решение во многом объясняется тем, что вместе с писателем, изобразившим его, этот герой делает лишь самые первые шаги на крутом пути, еще не видя, не предчувствуя даже, насколько он труден и долг. Огромный творческий поиск партии и народа в стремлении упорядочить жизнь колхозной деревни, устранить горестные последствия войны и допущенных ранее просчетов, — этот поиск для Акима Морева только-только начался.

Среди наиболее выразительных эпизодов «Раздумья» — встреча секретаря обкома с колхозниками «Партизана», которых кучка пьяниц и самодуров, проправшихся к руководству артели, довела до отчаянья, до бегства в город. Морев тяжело переживает упрёки этих людей.

«... Приходится с огородников все на базар таскать. Стыдно, — жалуется ему пожилая доярка Елизавета Лукинична. — Да что будешь делать? Косынку вот так на нос стянешь, чтобы глаза твои не видать было, и торгуешь. Так и переколачиваемся. Ведь что получается?.. Неурожаем — хлеба колхозникам нет, урожаем — хлеба колхозникам тоже нет...»

Далее следует горестный рассказ Елизаветы Лукиничны о том, как обмануло их надежды высокое обкомовское начальство во главе с перерожденцем и пьяницей Малиновым, который, прогуляв ночь в доме председателя колхоза «штукаря» Гаранина, не только не помог в беде, но и выдал Гаранину автора письменной жалобы коммуниста учителя Чудина. А еще дальше Аким Морев, «побывав в ряде колхозов Раздольского района и во многих местах найдя то же, что и в колхозе «Партизана» (Разрядка моя. — В. С.), слушает лекцию о постепенном переходе от социализма к коммунизму, лекцию, которую читает сам секретарь райкома Ростовцев, прозванный в народе за свою невозмутимость и равнодушие к людям «прекрасным статуем».

Морева, незаметно присевшего в последнем ряду слушателей — колхозных активистов, поражает контраст между напряженным и доверчиво-радостным вниманием, с которым люди воспринимают рассказ лектора о грандиозных успехах в стране, и горестной репликой соседа-колхозника: везде, мол, хорошо, славно, «а где же мы? Чем бы я стал кормить ребятнишек, ежели бы моя жена по осени не собрала с огорода семьдесят восемь тыкв?..»

Так лекция, которую читает Ростовцев, при всех абсолютно верных своих теоретических положениях, оборачивается в глазах секретаря обкома форменным издевательством над надеждами людей, над самыми дорогими нашими идеалами. И причиной

тому — духовная слепота «статуя» Ростовцева, его нежелание, неумение понять сущность таких «штураей», как Гаранин, его недоверие к колхозникам, оторванность от них, глухота к их жалобам...

«Надо устранить причины, породившие гарантиину...», — размышляет Морев. Причины же эти, по глубочайшему убеждению Морева и, разумеется, самого автора, заключались прежде всего в отрыве какой-то части партийных и государственных руководителей от жизни народа. Основания для подобных суждений имелись немалые — стоит лишь перечитать решения и стенограммы партийных съездов и пленумов ЦК, собиравшихся в пятидесятые годы в атмосфере возрождения ленинских норм партийной жизни. О том же свидетельствует и обширный газетный материал тех лет. Однако в «Раздумье» всякий факт перерожденчества, духовного окостенения преимущественно сугубо индивидуален, «замкнут» на себя. Механизм подобных явлений, равно как и причины, которые их порождают, глубоко не исследуется писателем.

И победу нового, молодого, порядок и достаток на селе видит Панферов в первую голову в личных качествах руководителя. Не случайно же рядом с разоренным, заколоченным, обезлюдившим Раздолинским районом, где командует «статуя» Ростовцев и где его попустительством плодятся «штуркари» Гаранины, писатель рисует зеленеющий под тем же небом, на той же земле, в те же дни богатый и радостный Нижнедонской район, которым по партийной линии руководит Иван Астафьев — крестник Елизаветы Лукиничны, человек, который, подобно Мореву, — плоть от плоти народной...

И в самом Мореве это качество чем дальше, тем определеннее выступает вообще ключевым. Глубистость, горячность, грубовато-бесцеремонная, весьма решительная манера говорить и действовать — столь дорогое Панферову «нутряное» начало — сочетаются у Акима Морева с воинствующим, в духе времени, антидогматизмом и подчеркнутой демократичностью. Он одинаково уверенно чувствует себя в обкомовском кабинете и в саманушке степного чабана. Он жаден до встреч с людьми, особенно же с людьми творческого склада. Это ведь, кстати, и очень панферовская черта: любовно-гордая усмешка художника так и светится со страниц, повествующих о замечательном чабане Егоре Пряхине с семейством, о закадычном дружке-побратиме Пряхина Ибрагима Явлейкине, о дочери Ибрагима красавице Марьям, что вывела новую породу коров. Лукав, расторопен и мудр в «Раздумье» председатель колхоза «Гигант» Иннокентий Жук, обаятельны лесовод Дмитрий Чуркин и пожилая доярка Наталья Коврова. И с каждым Панферов не однажды сводит Морева, в каждом находит секретаря обкома единомышленника и друга, у каждого берет нечто важное — в первую очередь вдохновение для собственного творчества, силу для борьбы.

Своеобразный апофеоз руководящей деятельности Морева — сцены собранного по его инициативе областного совещания

доярка. С одной стороны, он строго-настрого запретил районным руководителям готовить его участниц к выступлениям, писать для них шпаргалки: совещание, в пику «догматикам», должно развернуться как живой сердечный разговор о делах насущных и далеко не парадных, здесь важно услышать от каждой из женщин свое слово, свою мысль, пусть даже высказанную не совсем складно. В то же время по воле секретаря обкома встреча доярка с городом должна стать и становится подлинным праздником, на котором нет никого главного, желаннее и краше, чем эти великие труженицы колхозной земли...

Запомним этот эпизод и покамест, до поры, расстанемся с Акимом Моревым для того, чтобы взглядеться в другую фигуру, возникшую почти одновременно с ним. Я имею в виду Павла Мансурова — героя повести В. Тендрякова «Тугой узел», опубликованной в феврале — марте 1955 года. (Первоначальное название «Саша отправляется в путь».)

Из грохота строительных площадок, с прокаленных грозным солнцем прикаспийских смуглых просторов и волжских плесов мы попадаем в зеленую среднерусскую тишину, в петушье перекличье, на лесные проселки, уводящие в беспешную и вроде бы лишенную всяких бурь жизнь районной «глубинки».

Эта беспешность и гнетет Мансурова. Человек энергичный, беспокойный, волевой, он считает себя обойденным судьбою. Он не согласен мириться со «скромной» должностью заведующего отделом в райкоме, считая себя достойным лучшей доли. Вот почему так напористо, смело хватается он за первую же возможность проявить себя в глазах окружающих.

Это приносит ему удачу почти неожиданную. О необходимости решительных перемен, энергичного поворота в колхозной жизни думают и спорят в повести В. Тендрякова председатель колхоза Игнат Гмызин, старый агроном Чистотелов, комсомолец Саша Комелев, колхозники, работающие не за страх, а за совесть. И получается так, что подлинно партийное и хозяйское их стремление к такому повороту совпадает с неосознанным еще беспокойством Мансурова. Собственно, оттого-то вдруг и обретает он решимость к конкретным действиям, открывает для себя достойную цель: бороться за правду. Именно за правду! — в этот момент он еще не думает о личном благополучии, он убежден, что его личные интересы совпадают с общественными.

И надо сказать, что до поры он, пожалуй, прав. Ведь самое первое его выступление против секретаря райкома Баева и тех, кто разделяет равнодушное отношение этого человека к вопиющим беспорядкам в хозяйственной жизни района, к просчетам планирования, опирается на тщательно проверенные факты, собранные многими колхозными коммунистами, — Мансуров, по сути, лишь свел воедино их критику, предложения, советы. Но для того, чтобы сделать это, чтобы выступить с этим на бюро райкома, тоже требуется немало мужества, поскольку Баев

и его союзники энергично сопротивляются и еще неизвестно, на чью сторону станет, кого поддержит обком. Где уж углядеть за всем этим подспудные карьеристские мотивы, когда и сам Мансуров в те дни вряд ли подозревает о них.

Не потому ли и побеждает он на сей раз. Его выступление пришлось как нельзя ко времени. В поворотах мансуровской судьбы это — фактор самый важный. Не будь его, Мансуров — такой, каким показывает его Тендряков, — попросту «не состоялся» бы. Он вырастает под воздействием той же атмосферы, что породила и «Раздумье», и Морева. Да и провал его недолгой, но шумной «руководящей» карьеры объясняется в конечном счете воздействием того же фактора: как только карьеризм Мансурова проявился в полной мере, а он сам противопоставил себя вчерашним единомышленникам и требованиям времени, та же волна, что подняла его в секретарское кресло, столь же легко и смыла его оттуда.

Но вот вопрос: что привело нашего героя к такому исходу? Только ли упоение так неожиданно доставшейся властью, головокружение от взлета?

Нет, разумеется. В первые дни «руководящей» деятельности Мансуров искренне стремится исправить раскритикованные им недостатки. Но это не удается ему, ибо на его пути оказывается все та же сила инерции «волевого» руководства, которая воздействовала на его предшественников. Не удается потому, что доверие к разуму, к инициативе подлинных хозяев земли покамест еще более декларируется, нежели осуществляется на практике, и планы колхозного производства по-прежнему разверстаются и спускаются сверху без учета реальной обстановки на местах. Потому, наконец, что вся тяжесть ответственности за любую попытку откорректировать эти планы «снизу» возлагается персонально на того, кто предпринимает такую попытку, кто начинает искать более целесообразные, воистину хозяйские, партийные решения, не противопоставляя колхозные и государственные интересы.

Казалось бы, не такое уж великое дело, не такая уж крутая реформа правильно распределить рабочую силу на лесозаготовки, дать возможность «своим» колхозникам работать в соседнем — рукой подать! — леспромхозе, вместо того чтобы, выматывая людей и лошадей, тратя немалые деньги, тащиться обозом за сотню километров. Правда, ближний леспромхоз «чужой», ибо находится на территории «соседей». Но ведь лес-то рубят здесь для тех же государственных нужд!..

Мансуров загорается — вот еще один хороший повод ликвидировать пустой и вредный формализм! Исполненный радостной уверенности в себе после только что одержанной победы, он атакует областных руководителей. Те жмутся: «Не можем, дескать, отдавать свою рабочую силу в распоряжение «чужой» области». Мансуров доходит в своих настояниях до первого секретаря обкома Курганова. И Курганов вдруг соглашается:

«— Хорошо. Раз считаешь, что для государства выгодней — отдавай народ на сторону. План же лесозаготовок мы тебе ни на один кубометр не скинем. Отдавай рабочую силу, если справишься. А не справишься — полетишь сам с работы. За срыв лесозаготовок миловать не будем.

И Павел осекся...»

Он будет осекаться таким образом еще и еще. И трудно вроде бы упрекать его за эти уступки, отступления, компромиссы. Ну ладно, предположим, в каком-либо случае — хотя бы с теми же лесозаготовками — пойдет он до конца, рискнет своей репутацией, схватит выговор, другой, третий, а там, глядишь, в самом деле, и места лишится, в конце концов. Советь его партийная при этом будет чиста — что верно, то верно. Но что толку с того, когда на освобожденное им секретарское кресло вновь сядет все тот же Баев или Коробин (из романа Е. Мальцева «Войди в каждый дом»), которые никогда не осмелятся высказать свою точку зрения, если она идет вразрез с обкомовской, пусть даже ошибочной. И уже тем самым покажутся они руководству более надежными — в сущности, ведь и в Мансурове Курганов хочет видеть лишь исполнителя, потому и умеряет его порывы к самостоятельным действиям.

С другой же стороны, тот же Курганов как бы поощряет волонтеризм Мансурова. Как и другие секретари райкомов, Мансуров на областном совещании должен называть количество породистого скота, который могут принять колхозы его района. Дело само по себе доброе и нужное — тот же Игнат Гмызин спит и видит, как бы облагородить колхозное стадо. Но у Гмызина с кормами порядок, чего не скажешь о многих прочих артелях. И вообще решать такую проблему следует, семь раз примерив, пуше же — перетолковав, как положено, с теми, кому принимать тех коров на свои фермы.

Мансуров понимает это. И меру ответственности своей понимает. И даже, готовясь выступать, решает заранее: не зарываться! Однако помнит и другое: по тому, что он скажет, что пообещает, будут судить в обкоме прежде всего о нем самом. Малейшая неуверенность, излишняя осторожность — и прошай завоеванная было репутация молодого, растущего, энергичного вожака!..

Вот когда получают невидимый толчок эгоистические задатки мансуровской природы: желание не просто поддержать «руководящую» инициативу торопливым и потому в чем-то унизительным согласием, но назвать такое сверхобязательство, чтобы зал уважительно ахнул!..

Так и рождается показуха. Дальше — больше, круче уклон, по которому начинает катиться Мансуров. Первые тревоги со скотом, первые «накачки» председателям, первые и потому особо ошеломляющие вести о начавшемся падеже. И вот уже подлинная трагедия: едва покинув мансуровский кабинет, не выдержав угроз и разноса, кончает с собой старый Федосий Мургин... А Мансуров уже спешит на свой лад «поддержать» непродуманную рекомендацию

обкома о строительстве специальных кормоцехов по колхозам. И вместо того чтобы честно сказать о возможностях района, он продолжает пускать начальству пыль в глаза и «жать» на председателей, вопреки здравым их доводам и прямым обвинениям в том, что он запутался, идет на опасную аферу, что, стараясь выигрышей показать себя перед областью, ставит на кон животноводство всех колхозов. Против Игната Гмызина, бросившего ему эти жестокие, но верные правде слова, Мансуров начинает подлинную войну, не стесняясь ничем, вплоть до подлости. И — проигрывает, как проиграл когда-то ему самому его предшественник Баев. Потому что Курганов, до которого дошло гмызинское письмо, лично посещает район, наглядно и горько убеждаясь в последних перегибах...

Однако и в своем крушении Мансуров отчетливо понимает, что не один несет на себе тяжкий груз. «Я стал таким, пусть судят. Но кто виноват в том, что стал таким? — злобным полусшепотом кричит он секретарю обкома, готовясь выйти на суд товарищей... Я лез на зыбкой дорожке, но кто меня подбадривал и словом, и бумажкой, и добрым сочувствием? Мне придется обо всем говорить, товарищ Курганов!» «— Очень хорошо, что скажете, — отвечает тот, внешне спокойно. — Я свои ошибки прятать не собираюсь... Не беспокойтесь, буду требовать для себя жесткого суда! И неужели вы думаете, что сумеете запугать, что я поддамся на шантаж, соглашусь скрывать от народа свои грехи, а вместе с ними и ваши? Ошиблись, не все на ваш манер скроены!»

Курганов сдерживает слово. На совещании районного партактива, смещающего Мансурова, он выкладывает все как есть, не щадя при том и себя. Но ведь в поступке этом не только принципиальность — в нем и смягчение вины мансуровской! Не потому ли гром, грянувший было над головой нашего незадачливого карьериста, отнюдь не вбивает его в землю. Более того, через какой-то срок Курганов направляет его на учебу в Высшую партийную школу, сурово говоря в напутствие о необходимости сделать серьезные выводы из полученного урока.

И Гмызин, которому предложено принимать после Мансурова райкомовские дела-заботы, беседуя со своим выучеником и соратником Сашей Комелевым, откровенно рассуждает:

«...Пообчистят, наведут глянец на старый сапог, скажут: шагай дальше. И он с документами школы пойдет шагать смелей. Ему ли будет оглядываться, когда так легко с рук сходит... Равнодушие к людям, Сашка, большей частью идет от страха за себя».

То был очень тревожный и, как увидим дальше, не понапрасну тревожный финал... Решение конфликта, предложенное Тендряковым, явственно намечало завязку новых тугих узлов. Сам по себе подобный ход писателя еще раз свидетельствовал о новом качестве нашей литературы, обретенном во второй половине пятидесятых годов. Ведь

где-нибудь в сорок девятом такой конфликт почти неизбежно развязывался бы по-иному. Зло, воплощенное в лице Мансурова, будучи избобленным волею того же Курганова, наказывалось бы бесповоротно и до конца. Более правдивый и сложный, более диалектический вариант подсказала Тендрякову новая общественная атмосфера в стране. Ему, вступившему в литературу на тридцать лет позже Панферова, конечно же, легче было уловить движение времени, его перспективу.

В Море, в его судьбе, Панферов не предполагал, не угадывал никаких беспоконных тенденций. Он привычно увенчал этим героем неизбежную победу над догматизмом. Дальше не заглядывал, не видел в том нужды.

Это одним из первых сделал Владимир Тендряков в «Тугом узле». В действенных, противоборствующих характерах Гмызина, Мансурова, Курганова он воплотил следующий, очень важный этап все того же актуальнейшего по тогдашним временам социально-психологического конфликта. Сам того не подозревая, он наметил и разработал основную схему его возникновения и развития без малого на десять лет вперед, задолго предугадав иные проявления и развязки этого конфликта в самой жизни.

Пять лет спустя после выхода «Тугого узла» история мансуровского взлета и падения словно бы повторилась, причем гораздо драматичнее и в большем масштабе.

Следует вспомнить, что в развитии нашего сельского хозяйства шестилетие между 1959—1965 годами было весьма нелегким. Многие отрицательные явления в стиле руководства колхозной жизнью, так энергично атакованные в 1953—1954 годах, казались бы, прочно изжитые, вновь возродились на этот срок. «...Стали все более нарастать методы администрирования и командования. Неоправданное и неквалифицированное вмешательство в хозяйственную деятельность сверху нарушило демократические принципы внутриколхозной жизни. Принятый сентябрьским Пленумом ЦК КПСС (имеется в виду Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 3—7 сентября 1953 г.— В. С.) хозяйственный курс стал нарушаться. Дальнейшему развитию сельского хозяйства препятствовал волонтаристский подход к решению крупных вопросов экономического развития. Это нашло свое выражение в навязывании из центра различного рода рекомендаций и указаний без достаточного учета природно-экономических условий и опыта.

Вместо подлинно научных методов руководства, основанных на глубоком объективном анализе положения дел, распространялись шаблонные установки, принижавшие творческую инициативу работников сельского хозяйства. Важнейшие экономические законы и принципы социалистического хозяйствования игнорировались. Особенно это проявилось в практике проведения заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов»¹.

¹ С. П. Трапезников. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. В двух томах, том 2-й. Изд-во «Мысль». М. 1967, стр. 5/8.

В ряду многих печально-памятных эпизодов, связанных с этим процессом, оказался срыв тогдашнего рязанского областного руководства во главе с Н. А. Ларионовым. Попытка объявить «поход» за тройной план по заготовкам мяса и молока обернулась показухой, очковтратительством, а главное — сильнейшим подрывом колхозной экономики.

С Рязанью в ту пору имели дело вплотную по меньшей мере три писателя, не считая Панферова. Сюда, на берега Оки, в село Кузьминское, перебрался Елизар Мальцев. Интенсивно работая в это время над первой книгой романа «Войди в каждый дом», он принял самое деятельное участие в трудной борьбе деревенских коммунистов с порочной, экономически нецелесообразной практикой ведения хозяйства, которая имела место в самом Кузьминском и в других колхозах области. Те же заботы волновали и Сергея Крутилина — уроженца и коренного жителя этих краев. Наконец, сюда только что пересел из Сибири Николай Шундик.

Так появились на свет мальцевский Пробатов, секретарь райкома Парамонов, изображенный Крутилиным в публицистической заостренной главе «У омута» (1965), которой открывается третья книга романа «Липяги», и, наконец, Ларион Буянов — один из самых удачных характеров, созданных Н. Шундиком в его появившемся несколько лет спустя большом романе «В стране синеекой» (1968).

«Кровное родство» Морева, Парамонова и Буянова обнаруживается без особенного труда.

Мало того, что Буянов, подобно Мореву, не терпит шпаргалок, заранее заготовленных для будущих ораторов. Организованное им областное совещание доярок до мельчайших деталей повторяет соответствующий, памятный нам эпизод в «Раздумье», разве что у Н. Шундика секретарь обкома всенародно чувствует как мать-предводительница всех доярок области не Наталью Коврову, а Пелагею Комаркову. Да еще в отличие от Морева Буянов сам умеет играть на гармонике и окончательно подкупает сердца колхозниц, лихо распевая вместе с ними со сцены «Когда б имел златые горы».

«— Он учился где-то, кажется в вечерней школе. Ну, конечно, окончил областную партшколу. Но, в общем-то, как он сам признавался, он вырос из самостоятельности. Во время коллективизации работал слесарем в депо... не то в Ряжске, а может, в Рыбном. Видно, развеселый был парень. Организовал самостоятельный кружок — чапушки, песня, гармошка... Он и секретарем уже был — любил на гармошке играть...»

Это уже не о Мореве и даже не о Буянове, а о Парамонове, герое Крутилина, вспоминает в «Липягах» его бывший соратник Ронжип. И здесь же мы вновь встречаем знакомый эпизод с чествованием доярок...

Беседуя с автором этих строк, Сергей Крутилин прямо указал на Н. А. Ларионова как на «прототип» своего героя. Он же

подтвердил, что и Панферов близко знал этого незаурядного человека.

Разумеется, в характере Акима Морева воплотились черты и других руководителей того же масштаба: писатель был частым и желанным гостем не только на Рязанщине. Но при всем том, нет сомнений, что главный герой «Раздумья» многое получил и отсюда, с крутых берегов Оки...

Во всяком случае, интересно и важно, что несколько литераторов, исчисляя сельскую жизнь второй половины пятидесятых годов, почти одновременно обратились к одному и тому же типу партийного руководителя. Независимо друг от друга они проследили драматическое завершение его общественной и личной судьбы. Это, разумеется, не мешает их героям выступать как фигурам избирательным и собирательным. Именно отсюда прежде всего единство их взглядов, общность характеров и судьбы.

И Морев, и Парамонов, и мальцевский Пробатов, и Буянов у Шундика, да, собственно, и Курганов из «Тугого узла» — люди одного поколения, одного времени, одной формации. Их демократизм, духовная близость к рядовым труженникам, при всех всетаки беспокоящих элементах некоторого кокетничанья, что ли, этой самой «близостью» (та же гармошка!) — отнюдь не наигранное, а органичное свойство их натуры. Ведь они — и это, как правило, стремится оговорить каждый автор — родились и выросли в крестьянских семьях и здесь же, в родных деревнях, приняли босвое крещение в классовый борьбу. Особенно это относится к Пробатову и Буянову.

У Пробатова, например, как мы узнаем по ходу действия, мать и до сих пор живет в деревне, работает рядовой колхозницей, деля со своими соседями и товарищами все деревенские радости и беды. В числе лучших страниц мальцевского романа те, где рассказывает о приезде секретаря обкома в материнский дом, о сладком отдыхе на знакомой с детства печной лежанке. А вечерняя беседа Буянова с Пелагеей Комарковой и ее мужем в их старой избе, приульившейся в самом конце деревенского «порядка»! Тут тоже все близко, дорого герою Шундика: и луна, что, выплывая из-за сугроба, заглядывает в подслеповатое окошко, и мельканье быстрых спиц в натруженных руках Пелагеи, и такой родной, домашний запах хлеба и мяты, запах тепла и уюта, которым дышит изба, и даже потемневшие образа!.. Недаром именно здесь приходят к Буянову мысли о самом сокровенном, о смысле жизни своей, о судьбе, о пройденной и лежащей впереди дороге.

Но для нас важно не только принять к сведению эту, можно сказать, коренную черту интересующих нас героев, но и попытаться понять, почему каждый из писателей так настойчиво ее акцентирует. И еще, пожалуй, самое важное: какое развитие получает эта тема от романа к роману? Ибо при всей прослеженной нами «схожести» Морева, Парамонова, Пробатова, Буянова в названном качестве — в близости их народной судьбе и жизни — писательское отношение к ним заметно меняется.

Причину такого изменения лишь во вторую очередь можно объяснить различием творческой индивидуальности каждого из авторов. Главный его движитель — само время.

Близость к народу всегда была и остается первым и решающим требованием, предъявляемым к партийному вожаку. Исторически правомерно и особое писательское внимание к этому качеству, начиная с первой половины пятидесятих годов, когда понятие «народ» утрачивало недавнюю плакатную безликость, обретая первозданную живую силу. Решительный поворот к рядовому труженнику, подлинный интерес к его личности и судьбе, чувство ответственности за то и другое — все это явилось одним из важнейших моментов начавшегося в ту памятную пору возрождения ленинских норм партийной и государственной жизни.

Однако именно поэтому довольно быстро подтвердилась не столь уж новая истина, что демократизм — явление не только социальное, но и конкретно-историческое, что по мере развития общества он обретает новые качества. Одновременно выяснилось, что и «близость к народу» — иной раз свойство относительное, особенно если речь идет о руководителе, призванном возглавлять и направлять движение трудовой массы...

«Проникновенности» Парамонова посвящена в крутилинских «Липягах» не одна страница. «Сам выкинул в каждое дело, не передоверяя его помощникам, — вспоминает герой-повествователь в главе «У омота». — Я не говорю уже о людях, но он проявлял заботу о любом предмете — движимом и недвижимом...

И тем необъяснимее было то, что с ним случилось...»

Понятно, что герою-повествователю из «Липягов» — простому сельскому учителю — нелегко разобраться в причинах грубейшего срыва Парамонова на «трех планах» по мясу и его последующего трагического падения. Но вот что интересно: на его недоуменный вопрос не может до конца ответить даже Ронжин, ныне липяговский агроном, а в недавнее время председатель райисполкома, работавший с Парамоновым рука об руку и разделивший с ним как былую славу, так и последствия свершившейся катастрофы. Даже он, перебирая в памяти те дни, никак не разглядит, с какого рокового перекрестка взяла начало скользкая тропка, свернув на которую, привычно уверенный в себе, энергичный, рослый, крутоплечий человек с пышной копной седых волос вдруг, в итоге, предстал перед партийными товарищами в жалком облике провинившегося школьника: «зажал голову ладонями, меж пальцев видны пунцовые уши...»

«... — Он был до крайности самолюбив. Признать ошибку, сказать, что виноваты, — таких слов он произнести не мог. А надо бы, — сетует, вспоминая, Ронжин. — Надо бы сказать, что действовали так не из-за корысти, а потому, что искренне верили: делаем большое, нужное дело. Всем нам казалось тогда, что для броска вперед действительно нужен «маяк». Мы, мол, не вытягивали трех норм. И вместо того, чтобы при-

знаться в том, что похвастались зря, вместо того, чтобы одуматься, смалодушничали, пошли на обман...»

Ронжин искренне считает виновниками случившегося себя самого и вообще друзей, «окружение» Парамонова: «Не удержали вовремя, когда от успехов голова у него кругом пошла. В глаза ему заглядывали. Каждое слово на лету ловили...»

Но, разумеется, и здесь он прав лишь отчасти. Ведь, в сущности, и болезненное самолюбие Парамонова, и ронжинское потакание его слабостям, опять, как и карьеристские задатки Мансурова в «Тугом узле», относятся к факторам чисто субъективным. Но они-то в конечном итоге и являются конкретным воплощением объективно сложившихся обстоятельств, тех, что возносят и сбрасывают Мансуровых и Парамоновых.

Сергей Крутилин решает эту задачу со своей лад. В успешно широком, «летописном» движении его «Липягов» фигура Парамонова возникла лишь в начале третьей части — весной 1965 года.

Проблемы колхозной жизни пятидесятых — шестидесятых годов рассматриваются здесь как бы в потоке времени, во множественных взаимосвязях с народной судьбой. В этом отношении крутилинский роман, взятый в целом, представляет собой особое явление «деревенской прозы», и речь о нем, как и о прочих книгах того же ряда, должна идти также особо.

Возвращаясь же к основным, развернутым решениям интересующей нас проблемы «тугих узлов», мы со всей неизбежностью должны вновь встретиться с Иваном Пробытым и другими героями Елизара Мальцева.

Новый большой роман о современной деревне он задумал в самом конце сороковых годов, почти сразу же после получения Государственной премии за роман «От всего сердца». Однако в ту пору инерция бесконфликтности еще тяготела над писателем, и требовался какой-то перелом, ренающий толчок, чтобы загореться будущей книгой и сделать ее по-настоящему новой.

Весной 1953 года Елизар Мальцев по заданию «Правды» поехал по колхозам Кировской, Свердловской, Курганской областей. Встретился и толковал со своим однофамильцем — «народным академиком» Терентием Мальцевым. Приглядывался, как живет село, во что одевается, что ставит на стол. Всна выдалась трудная: в них деревнях копали зимовавшую под снегом картошку — протирали, пекли лепешки.

Очерка не получилось. Быть может, потому, что слишком ошеломляющ был контраст между привлекавшими вчера писателя оранжерейными «ростками» и тем, что теперь он учился видеть, понимать, показывать.

Учился не в одиночку — к тому времени уже появились первые очерки В. Овечкина, В. Тендрякова, Е. Дороша. Все новые голоса, возникая в разных уголках страны, присоединялись к ним. Это было по-настоящему глубокое проникновение в современную деревенскую жизнь.

Тогда и состоялся переезд Е. Мальцева в Кузьминское, закрепивший крутой поворот в писательской судьбе. Здесь-то особенно остро и почувствовал писатель, как нарастает гражданская активность труженников села.

Здесь же обнажилась перед ним драматическая картина духовного и политического краха людей, пытавшихся действовать в новых условиях жизни привычными «вольными» методами. Так родилась идея нового произведения.

Первая книга романа «Войди в каждый дом» появилась на страницах журнала «Москва» в конце 1960 года. Но писалась она начиная с 1955 и, следовательно, может рассматриваться как «ровесница» «Раздумья» и «Тугого узла».

Не потому ли, как и в «Раздумье», главным объектом атаки здесь тоже, вроде бы, становятся «штукари» и «догматики». Однако довольно скоро обнаруживается, что те и другие представлены и «решены» Мальцевым интересней и разнообразней. Перед нами уже не карикатуры, а психологически убедительные характеры, которые не просто демонстрируются писателем, иллюстрируя его мысли, но исследуются и развиваются у нас на глазах.

Так, возглавляющий мальцевских «штукарей» Аникей Лузгин совсем не чета тупо уверенному в своей безнаказанности пропойце Гаранину из «Раздумья». Мальцев изображает его как ярко выраженный социальный тип и, нащупывая его историческую основу, видит в нем преемника вчерашних кулаков. Собственно, у Аниека есть непосредственный литературный предшественник — бывший кулак Андрон Макшанов из первого мальцевского романа «Горячие ключи» (1944—1945). Душа темная, злобная, лукавая, Андрон, маскируясь под «патриота», спекулируя лозунгами дня, яростно надеется на победу гитлеровцев — только она, по его убеждению, даст ему возможность вновь развернуться на селе, свести многолетние счеты с Советской властью.

Его духовный наследник Аникей уже не рассчитывает на возвращение старых порядков. Да и зачем? Прочно оседлав председателское кресло в колхозе «Красный маяк», Аникей превратил артель в подобие своей «вотчины», наживаясь на бедах и нуждах людских, не брезгуя подкупом, подсиживанием недовольных, а то и прямой эксплуатацией. Он умеет держать нос по ветру, превосходно освоил приемы демагогии, ладит с «начальством», угадывая его желания и видя в том самую верную гарантию своей «высокой» репутации — как же, «передовик»!..

Разумеется, и «начальство» в данном случае должно «соответствовать». И Мальцев изображает целую группу персонажей, каждый из которых в силу той или иной причины склонен покровительствовать Аникею и подобным ему «хозяйственным мужичкам», пролезшим в колхозные активисты.

Однако среди самых значительных мальцевских удач — Иван Пробатов, инте-

реснейшее проникновение в духовную драму большого человека.

Правда, в первой книге романа этот герой еще выступает почти «голубым» — даже пышная седая его шевелюра сквозит, по замечанию автора, «голубизной», выгодно оттеняя загорелое, обветренное лицо. Перед нами персонаж, призванный олицетворять противостоящую догматизму, безусловно побеждающую, подлинно партийную линию руководства.

Традиционная, «дежурная», нагрузка была настолько велика и очевидна, что грозила превратить героя в схему. Однако писателю помогло здесь верно схваченное, уже знакомое нам демократическое начало, которое с первой же встречи открывается в Пробатове и необычайно располагает к нему. Он, к примеру, решительно пресекает угодливую попытку Коробина собрать в неурочный час всех работников райкома по случаю его, пробатовского, приезда. Подобно Акиму Мореву Пробатов исполнен раздумий — глубоких, серьезных, человеческих. Поездка по району, встречи с Яранцевым, Лузгиным, с матерью, с замечательной женщиной Любушкиной, умело и по-хозяйски ведущей соседний с «Красным маяком» колхоз, душевный разговор с Бахолдиным пробуждают в нем целый рой мыслей. Главная из них — о колхознике, который живет еще скудно и трудно и перед которым он, коммунист Пробатов, и его товарищи по великому общему делу, остаются покамест в большом долгу. Об этом, о живой связи с людьми, о необходимости покончить с бездумным выполнением инструкций, с мелочной опекой и формализмом во имя подлинной, партийной, государственной заботы о человеке-труженике, и беседует он вечером за стаканом чая с райкомовцами. Беседует необычайно доверительно, словно бы размышляя вслух и в свою очередь побуждая товарищей к откровенности...

Другими словами, ничто не подсказывает нам, ничто не заставляет предполагать, что во второй книге романа мы неожиданно встретимся уже с совершенно другим Пробатовым, в котором лишь изредка, с великим трудом сможем узнать полюбившегося нам героя.

Не знаю, насколько правомерно вменять писателю в вину эту психологическую непоследовательность. Нельзя ведь не принять во внимание годы, что пролегли между первой и второй книгами. «События, ставшие предметом моего писательского внимания во второй книге, еще не принадлежат истории, они у многих читателей на памяти, но уже стали прошлым, — сказал по этому поводу сам Елизар Мальцев в предисловии к журнальному варианту второй книги романа. — Они стали прошлым не столько потому, что в нашем бурном и динамическом веке каждый уходящий год тут же становится историческим, не столько потому, что эти события уже отдалены от нас почти целым десятилетием, но главным образом потому, что между нынешним днем и временем, отраженным в романе, лежит целая полоса в жизни народа и партии, отмеченная такими важными вехами, как па-

мятный октябрьский пленум ЦК и XXIII съезд партии. На них были открыто осуждены отжившие методы руководства сельским хозяйством страны, приняты решения, которые положили начало новым экономическим преобразованиям...»

Новое лицо Времени, новый качественный его рубеж — вот, собственно говоря, о чем идет здесь речь. Новый уже по сравнению с той новью, которую ощущал, которую приветствовал Панферов, да и мы тогда — в начале пятидесятых... Конечно, между этапами, которые мы проходили, не выросло каменных стен — и наша сегодняшняя «новая новь» вызрела в нови «вчерашней», и приметы ее замечались многими — тем же Панферовым, тем же Мальцевым. Но далеко не всякий из нас, современников, видел и понимал, что с пережитками прошлого — тем более такого недавнего прошлого! — разделаться не так-то легко. Что порою эти самые пережитки вовсе и не воспринимаются нами как таковые в силу той же инерции личного и общественного сознания. Что иной раз мы еще продолжаем принимать их даже за достоинство, за нечто проверенное, безотказное, особенно в тех случаях, когда, отрешившись от былых заблуждений, сочли себя, наконец, обновленными перед лицом нашего завтра...

Таким, как уже говорилось, вышел из-под панферовского пера Аким Морев. Таким появился и Пробатов в первой книге мальцевского романа, и я убежден, что иным в ту пору и не видел, не представлял его себе и сам писатель. Тем более что первая книга Мальцева, при всем сказанном, появилась очень ко времени и на многое откликнулась. И если во второй книге автор попытался, причем весьма удачно, досказать недосказанное, попытался, говоря его собственными словами, «разобраться в самом явлении, его первопричинах», то в этом — и писательская его заслуга, и писательское мужество.

И очень важно, что в 1968 году, спустя год после выхода второй книги мальцевского романа, Пробатов был как бы «подтвержден» Буяновым в книге Николая Шундика. Буяновым, в котором автору «Страны синеокой», по его словам, «очень хотелось показать... человека сложного, противоречивого, несомненно одаренного, достойного не только осуждения, но сочувствия и даже глубокого уважения».

Стоит отметить, что в художественном плане Буянов воспринимается как фигура более цельная, развернутая гораздо последовательнее, нежели Пробатов. И это понятно. Во-первых, он не «разрезан», подобно Пробатову, почти десятилетней полосой времени, пролегла между первой и второй книгами. Он с самого начала понят и задуман автором таким, каким Мальцев увидел своего героя лишь в работе над второй книгой. Во-вторых, для Шундика Буянов — это прежде всего прошлое и только прошлое, писатель постоянно смотрит на своего героя из нынешнего дня.

В такой позиции, подсаженной самой жизнью, есть свои преимущества — про-

шлое всегда можно увидеть во всей его протяженности, охватить целиком, исследовать по составным элементам, взглянуть в их связи. Это весьма увлекательно — не случайно же Шундик, стремясь, по его собственному утверждению, отвести «в конечном итоге» главное место в романе сегодняшнему дню, невольно отдал предпочтение именно дню вчерашнему — в лице все того же Буянова. Скорее всего так получилось потому, что события и характеры, связанные с этим героем, представляющие и воплощающие его, резко очерчены и осмыслены в острейшем конфликте. Им, подобно реальности и в мальцевском романе, присущ, по словам Шундика, тот «драматизм ситуации», что «с особенной силой выявил те прогрессивные начала, которые неуклонно ведут нас к искоренению ошибок, к постоянному обновлению, совершенствованию, еще большему утверждению человечнейших законов нашего общества».

Корень этого драматизма, конфликтное его зерно, разумеется, скрыты в характере Буянова, равно как и в характере Пробатова. Люди одного поколения, это — воистину личности, выкованные и закаленные в трудах и сражениях первых советских десятилетий. Методы руководства, которыми они привыкли пользоваться, складывались годами и диктовались жесткими требованиями самой эпохи: революция, война, разруха, считанные годы мирной передышки, опять война, опять разорение... И душевные качества этих людей вызревали в борьбе. Воля, неуступчивость, решимость, высокое сознание своей постоянной правоты во всех случаях, когда вершится общее дело. Искренне переживая горечь потерь, они привыкли в то же время не считаться с ними во имя того же дела. Привыкли к тому, что железная воля руководителя, помноженная на беззаветный энтузиазм руководимых, сломит любые преграды, восполнит любые нехватки, совершит любые чудеса наперекор всяческим нормам и расчетам. И эта привычка стала второй их натурой...

Ошибка Пробатова, Буянова и тех, кто их направляет, начинается там, где в их действиях возникает отчетливый разрыв между желаемым и реально возможным, где забывается ленинский завет о постоянной необходимости экономического обоснования выдвигаемых партией идей и планов.

Где же та сила, те идеи, те новые характеры, перед которыми в конце концов отступают Борзовы и Коробины, летят с насиженных тепленьких местечек проходимцы вроде Аниски, кому уступают командные рычаги Буянов и Пробатов? Как показывают это наступающее и побеждающее наши писатели?

Надо сказать, что книги, вызванные к жизни непосредственно событиями 1955 — 1965 годов, с гораздо меньшей определенностью говорили о том, что движет общество вперед, нежели о том, что тормозит его движение. Нет, речь идет не о позиции художников: она всякий раз проявлялась абсолютно ясно, определено. Вполне убедительно воссоздавалась здесь и атмосфера

времени — беспокойная, исполненная радостного и тревожного ожидания больших перемен.

Разумеется, в тех случаях, когда мы встречаемся с Пробатовым и Буяновым, с Бахолдиным или Ксенией Яранцевой, немалое, а подчас и решающее значение имеют главные черты их натуры, о которых уже говорилось: бескорыстная и самоотверженная преданность делу социалистического строительства. Жизненные противоречия, с которыми они столкнулись каждый по-своему, — в своей работе, в отношениях с людьми, не могли не сказаться и на внутренней жизни этих героев. Думается, что этот духовный перелом представляет собой один из интереснейших процессов, который подметили писатели.

До сих пор, впрочем, лучше и основательней других удалось раскрыть его Елизару Мальцеву. Мы уже говорили о Бахолдине, старом учителе, секретаре райкома. В первой книге романа этот герой представляется скорее пассивной фигурой, а его прозрение — запоздавшим, почти ненужным для окружающих, ибо к мыслям своим о необходимости жить и работать иначе, чем до сих пор, Бахолдин приходит, что называется, на краю могилы, в тот момент, когда он фактически уже не может, не в состоянии вмешаться в развернувшуюся борьбу. Однако во второй книге Бахолдин активизируется. В полемике с Пробатовым, в разговорах с Константином Мажаровым идеи, тревожащие старого коммуниста, неожиданно обретают силу и действенность, а письмо, которое он решил направить в Москву, излагая свою точку зрения на происходящее в районе и области, весьма основательно «срабатывает» и после его смерти. Мы осязаемо чувствуем весомость бахолдинского вклада в победу справедливости и здравого смысла. Да и самый уход в небытие озарен для Бахолдина светом жизнеутверждения — писатель подчеркивает, оттеняет этим мрачные думы Пробатова.

Еще энергичней выступает в романе Ксения. Ее перестройку, освобождение от догматической ограниченности определяют два решающих фактора: душевная честность этой героини и ее близость к людям родной деревни. Ксения — человек долга, не признающий компромиссов, постигающий законы партийной жизни и борьбы собственным сердцем, приближением к людским радостям, горестям и заботам. И та же самая «одержимость», которая до поры закрывала ей глаза, помогает молодой женщине устоять в трудный час прозрения, не поступиться правдой и доверием колхозников перед лицом тех, кто еще вчера был для нее непререкаемым авторитетом. И напрасно атакует ее Коробин, напрасно вкрадчиво обхаживает ее Иннокентий Анохин — ведь он близок с Ксенией, намерен жениться на ней, а ее «строптивость» может повредить анохинской репутации в глазах «всесильного» начальства... Но чем дальше, тем уверенней становится она активным соратником Константина Мажарова и Егора Дымшакова.

Каждый из этих персонажей тоже заслуживает особого разговора.

Константин Мажаров может быть причислен к той категории героев, которые, по замыслу писателя, должны воплощать в себе как нечто исходное те качества, которые Бахолдину и Яранцевой достаются лишь в трудных столкновениях, в мучительных раздумьях. И надо сказать, что как раз эти бесспорно интересные герои — люди нового склада и новых принципов, представляют собой в разбираемых книгах объект, к сожалению, мало исследованный их авторами.

Здесь опять хочется вспомнить тендряковских героев, выступающих в «Тугом узле» в качестве антиподов и главных противников Мансурова. Это — Игнат Гмызин и Саша Комелев. Характер первого воплотил в себе основы нашей общественной морали, идею органической связи с трудом и землей. Личность яркая, самобытная, Игнат обладает качествами подлинного руководителя-коммуниста. Отличное знание хозяйства, принципиальность и справедливость, бескорыстие помыслов и поступков, завидные волевые качества, контролируемые постоянным чувством ответственности за судьбы колхоза, района, каждого человека, умение заглянуть вперед — стоит ли удивляться, что Игнат при необходимости не задумается столкнуться с любым «начальством». Не задумается, ибо болеет не за свою репутацию, а за общее дело и верит в свою правоту.

Таким стремится он воспитать и Сашу, видя в нем своего духовного наследника. Щедро, по-отцовски делится он с молодым коммунистом хозяйственным и житейским опытом, но настойчивее всего внушает ему первую и главную партийную заповедь: не бояться правды, даже самой трудной, биться за нее, не щадя себя. И Саша вырастает молодым дубком возле крепкого гмызинского плеча, мужая на наших глазах. Их дружба не однажды испытывается — схватка с Мансуровым нелегкое дело!.. Но они выигрывают ее. Оба!.. И это — закономерная, заслуженная победа, хотя и не последняя — мы уже говорили об «открытом» характере предложенного Тендряковым финала.

Быть может, как раз поэтому остается пожалеть, что писатель так и не вернулся потом к этим своим героям. Да и в самой повести по сути не дал взглянуть в них попристальной, особенно в Гмызина.

В этом отношении Е. Мальцев, пожалуй, щедрей. Во всяком случае, примечательнейшая фигура Егора Дымшакова, «родственная» гмызинской, выписана им с большей обстоятельностью и чаще оказывается в центре действия.

Этот задиристый и обозленный мужик, правдоискатель и правдоборец, постоянно внутренне ошестиненный и бесстрашный обличитель, должен был обязательно броситься в глаза художнику, который стремился найти и показать конкретное выражение народной позиции в той критической обстановке, которая сложилась в нашей колхозной деревне во второй половине пятидесятых годов. Причем важно отметить с самого начала, что Егор предстает перед нами

менно как рядовой деревенский коммунист неутомимо свою борьбу за справедливость он ведет с партийных позиций, внимательно следя за всеми событиями, которые развертываются в партии и стране.

«Кого главное хотим обмануть? Самих себя! Ну зачем, скажи, нам свои болячки хоронить, в эти чертовы жмурки играть? Зачем? Если уж сейчас всю правду не говорить — тогда во что верить и зачем жить?.. Как мы без государства слабее слабое — так и оно без нас».

Мы видим, что и герой Мальцева приходит все к тем же выводам о неразрывности интересов государственных и личных, о том решающем значении, которое имеет деятельность каждого труженика в жизни страны, о необходимости активного, хозяйственного вмешательства в разворачивающиеся события. Писателю удалось воссоздать в Егоре Дымшакове некоторые характернейшие приметы времени — процесс активного и стремительного осознания рядовым колхозником-коммунистом своей личной ответственности за общее дело.

Однако нужно отметить, что в первой книге задача эта не была еще выполнена до конца и решение, предложенное здесь Мальцевым, носило более декларативный, нежели действительный характер. Егор все-таки больше обличал, грозил, издевался, нежели действовал.

Во второй книге Мальцев развил этот образ, сообщив ему больше динамики, введя в центр завязавшейся борьбы. Но самое важное, что здесь писатель гораздо пристальнее взгляделся в лица, характеры и других рядовых колхозников, которые до этого были закрыты от читателя широкой спиной Егора. Прояснились, ожили такие персонажи, как доярка Авдотья Гневышева, которой тоже, подобно Ксении, но на свой лад, многое приходится ломать в себе. Определится как реальная сила весь коллектив тружеников «Красного маяка». Колхозники, изображенные Мальцевым, уже не молчат, не принимают безропотно махинации «штукарей», как это происходит в «Раздумье», не ждут избавителя со стороны. Они решительно, причем чем дальше, тем энергичнее, противостоят Лузгину и его приспешникам. Воплощая в себе народный, государственный разум, они сплачиваются в борьбе против очковтирательства и вопиющей бесхозяйственности, связанных с реализацией пресловутого «тройного плана». Недаром в числе наиболее впечатляющих эпизодов романа оказались те, где обличается на колхозном собрании Аникей Лузгин, где изображен коллективный срыв задуманного им жульнического «мероприятия» по закупке «своих» коров.

Менее удался писателю союзник Дымшакова Константин Мажаров. Его формирование осталось за пределами действия. Мы узнаем более или менее подробно лишь о драматических событиях его деревенского детства. Все остальное — и фронт, который он прошел, и послевоенное десятилетие, то есть, в сущности, решающие обстоятельства в жизни и становлении героя, — отсутствует в романе. И это подчас мешает нам

понять до конца иные свойства его натуры, мотивы поступков.

В самом деле, Мажаров покидает район и деревню в самые тяжкие годы, проводя их частью на учебе, частью на «высокой» работе в министерстве. Затем — москвич, коммунист, достаточно опытный и квалифицированный руководитель по меньшей мере республиканского масштаба! — он, вернувшись по зову совести и сердца на родину, в «глубинку», исключительно из скромности отклоняет предложение встать во главе райкома партии. Он предпочитает уйти парторгом в колхоз. Поступок — слов нет! — на первый взгляд достаточно благородный и даже самоотверженный, хотя Ксения, оскорбленная в женском своем достоинстве, поначалу подозревает в этом какие-то иные, корыстные мотивы. Но мы уже видели и на примере Мансурова, и на примере Коробина, который во многом близок этому тендряковскому герою, как «горячо» бывает подчас сидеть в райкомовском кресле. Так что, отклонив эту почетную должность, Мажаров оказывается в положении чуть ли не более выгодном. Во всяком случае, мера ответственности, взятой им на себя, по воле писателя, не в пример меньше.

Правда, и на том, низовом, руководящем партийном посту, который занял Мажаров, ему тоже достается основательно. Ведь это, как ни говори, «передовая», здесь непосредственно, лицом к лицу, приходится вступить в схватку с Аникеем и его компанией. Но Мажарову мешает при этом отсутствие прочной, «корневой» связи с колхозом, с землей. В отличие от старшего Яранцева, от Ксении, от Дымшакова, наконец, даже от того же Анисья, он все-таки «посторонний», приезжий человек на селе. Отсюда, быть может, еще одно ощущение некоторой неопределенности, заданности его характера...

Надо сказать, что Мальцев со своим Мажаровым вовсе не одинок. Нечто похожее произошло и у Н. Шундика с фигурой Соколова, которому писатель с самого начала отвел в «Стране синеей» место главного героя.

Соколов был задуман как антипод и преемник Буянова, как человек, который, работая вместе с Буяновым, взял у него все лучшее, благополучно избежав дурного наследия. В самую трудную пору, видя буяновские промахи, он находил в себе мужество в тех или иных случаях останавливать первого секретаря, заступаться за критикующих его, коим грозил несправедный буяновский гнев.

Много места в книге уделено любви Соколова к Светлане Кравцовой — через весь роман проходит сложная история этого взаимного тяготения, и автор не жалеет поэтических красок, изображая переживания своих героев. И в новой своей высокой должности основательно показан Соколов: он много размышляет о жизни, о ее сложностях и проблемах, в нем, по замыслу автора, сочетается педагогический такт и свойство организатора, высокая интеллектуальность и сердечный жар и многие-многие другие очень важные и хорошие качества.

Но вот какое дело: еще слишком многое из всего этого воспринимается в романе как нечто декларативное. Правда, в начальной редакции «Страны синеокой» эта декларативность бросалась в глаза гораздо больше, быть может, потому, что герой был здесь, ко всему прочему, довольно пассивен и чаще рассуждал и переживал, нежели действовал. В окончательном варианте романа (1973 г.), композиция которого резко упорядочилась, обрела целеустремленность, Соколова в этом, пожалуй, уже не упрекнешь. Автор заметно прибавил ему энергии, жесткости, грубоватей сделал его, добавив ему буяновского железа. Прочнее наметились его связи с замечательными людьми — Денисом Ганиным, Пелагеей Комарковой, Надеждой Калининной, воплотившими лучшие качества тружеников сегодняшней колхозной деревни. Определенней — через того же Соколова — выявилась одна из очень важных линий в романе — линия духовного выпрямления, «выздоровления» тех, кого в свое время смяли, было, буяновские «перегибы».

И все же момент известной условности в Соколове остался. Остался, надо полагать, как следствие той особой трудности, которая встает перед художником, стремящимся ухватить и типизировать приметы нынешнего стремительного дня, где еще трудно отделить главного от наносного, где многое приходится «проектировать» не столько в соответствии с условиями времени и жизни, сколько с собственными авторскими идеалами...

К этому еще и еще раз хочется подчеркнуть, что и в создании соколовского характера, и тем паче в работе над Мажаровым каждому из писателей так или иначе, на наш взгляд, недоставало обращения все к тем же глубинам и конфликтам времени, которые формировали этих героев. Это сказало не только на Соколове и Мажарове, но и в целом на разрешении всей интересующей нас проблемы.

В известной мере этот «пробел» восполнен Владимиром Фоменко, его романом «Память земли».

Роман, который в некоторых ключевых моментах очень интересно и неожиданно перекликается с «Тугим узлом», вновь возвращает нас из районной «глубинки» на знакомые по «Раздумью» просторы Волго-Донского междуречья, в гром великой стройки, в те же эпические контрасты и масштабы. Но хотя его действие по времени происходит за несколько лет до событий, воссозданных Панферовым, чувствуется, как обогатил автора опыт современников и предшественников, опыт нашей жизни.

Владимир Фоменко обнарудовал начало «Памяти земли» на рубеже шестидесятых годов, окончание — десять лет спустя. Внешних «перепадов» в развитии главного конфликта и ведущих характеров эта «пауза» как-будто не вызвала, но несомненно, что все пережитое писателем и народом за эти десять лет впиталось в самую плоть книги, помогло выкристаллизоваться вложенным в нее мыслям.

Таким образом, мы обращаемся к про-

изведению, которое стоит в одном ряду с теми, о коих только что шла речь, и в главном, прежде всего в стремлении поставить и решить на свой лад все ту же проблему «тугих узлов», перекликается с ними.

Однако у «Памяти земли» есть очень любопытная особенность и «отличка». Это — прямая, едва ли не демонстративная связь с шолоховской традицией.

Книгу В. Фоменко невозможно читать и понимать, не вспоминая о Шолохове и его героях, не чувствуя постоянного невидимого их присутствия в мире, воссоздаваемом Фоменко. Да что читать — вероятно, и писать-то эту книгу было невозможно без такого чувства, едва ли не в равной мере присущего и автору, и его персонажам. И, наверное, не случайно, понимая всю неизбежность этого, Фоменко не только не попытался избавиться от нее, но, наоборот, использовал эту «память о Шолохове» как своего рода «художественный прием». Она выступает в романе неотделимо от «памяти земли» — Донской земли. И это понятно и естественно, ибо ведь и сам Шолохов давно уже стал неотделим от Дона и его революционной истории, от нашего представления об этих краях и людях.

Вот почему Фоменко, изображая природу «своей» Донщины, нет-нет да и заговорит о шолоховских пейзажах, или наделит иного из героев нагульновскими чертами, или заставит другого читать, в целях агитации, вслух и с выражением о злоключениях деда Шукаря. И вообще можно даже вести речь о своеобразном «соревновании» с Шолоховым, в которое отважно вступает автор, доказывая несомненное умение изображать хозяев донских берегов и самые берега, и те же обычаи, тот же казацкий быт по-своему, не поступаясь ни собственной писательской индивидуальностью, ни жизненной правдой...

Но нам важно сейчас подчеркнуть, что это не просто «соревнование», а попытка перенять летописно-публицистическую эстафету, проследить, исследовать дальнейшее движение Времени через памятные по Шолохову донские хутора и казацкие — крестьянские! — судьбы.

Изображенный Фоменко хутор Кореновский являет собой своего рода оазис. Деревни, окружающие его, еще живут трудно и скудно; степные соседи кореновцев скармливают скотине соломенные крыши своих куреней. Здесь же, в защищенной крутобережьем от суховея, удобряемой ежегодными разливами пойме Дона, раскинулся подлинный крестьянский рай: с богатыми покосами, охотничьими и рыбными угодьями, с прославленными на весь мир виноградниками. Кореновцы не знают не только засухи и бескормицы, но и пресловутой «палочки» на трудодень.

И вот эта райская жизнь нарушена. Страна строит Волго-Дон, над местом, где стоит Кореновский, скоро заплещется рукотворное Цимлянское море. Надо бросать все, переселяться в ту же, продуваемую насквозь, прожигаемую солнцем и морозами степь, которую еще предстоит сделать плодородной. Судьба людей, оплативших свой

достаток жестокой борьбой и многими жертвами, неустанным трудом многих поколений, сталкивается с грандиозными планами великой всенародной стройки. Им зрде бы лучшего и желать невозможно, в их зовут к новой, еще неведомой, еще только со слов других счастливой жизни, к труду и борьбе во имя справедливого достатка для всех, в том числе и для обиженных природой степных соседей.

Такой поворот судьбы невозможно принять без огромной душевной ломки, в которой держат еще одно труднейшее испытание новые свойства хозяина земли и страны, воспитанные в труженике земли его многолетним активнейшим участием в борьбе за Советскую власть. Так завязывается очередной «тугой узел».

Председатель райисполкома Орлов, «возглавляющий» в романе одну из столкнувшихся в непримиримой схватке сторон, меньше всего задумывается над проблемами подобного рода. Переселение кореновцев для него очередная кампания — не больше. Орлов — фигура любопытнейшая. Среди уже знакомых нам литературных персонажей он, пожалуй, ближе всего к павленковскому Корытову или к Борзову из «Районных будней». Ничего похожего на моревский или буяновский демократизм в нем не сыщешь. Более того, при первой же встрече с ним (а происходит она на хуторской свадьбе) писатель подчеркивает сдержанную брезгливость Орлова по отношению к развеселой застольице, его отчужденность, неумение и почти откровенное нежелание найти общий язык с колхозниками. Потом он не однажды будет обвинять и высмеивать своего противника Сергея Голыкова на предмет его «народнических замашек».

Фоменко заставит Орлова развить знакомую нам корытовско-борзовскую «философию» насчет «права» руководителя не интересоваться «отдельным человеком». Орлов даже некую «теоретическую» базу подведет под подобные рассуждения. На первое место он склонен ставить не человека, а дело и все так называемые «личные беседы в коллективах» убежденно считает заигрыванием и «демагогической трепотней». Считает, потому что ничуть не нуждается в этих самых «личных беседах», потому что ему удобней и спокойней рассматривать людей, народ как понятие общее, едва ли не статистическое, от которого можно отвлечься, над которым нужно подняться, начисто избавившись от таких очевидных «помех», как совесть, жалость, тревога, уважение, сочувствие и прочие «эмоции», неизбежно возникающие при непосредственном, заинтересованном знакомстве с печальями и радостями людскими. Скажем больше — Орлов уже искренне уверовал, что народ не способен без него и подобных ему распорядиться собственной судьбой, «пересмотрел» и «отменил», по крайней мере для себя, в своей «руководящей» теории и практике ленинскую идею о народе, управляющем государством, — идею Советской власти.

«Пятьсот слесарей-ударников или пятьсот самых передовых доярок не решат вопросов, к примеру, волго-донских, квали-

фицированной Орлова — руководителя профессионального».

Отметим: это нечто принципиально новое! Фоменко делает следующий, вполне логический шаг по сравнению с тем, что было раскрыто другими писателями. Он вводит нас уже в пределы социально-политической характеристики исследуемого явления. В облике, в образе мыслей исповедующего «волевыс», вернее же, волюнтаристские принципы руководителя он выявляет черты откровенно буржуазной идеологии.

Мы видели: в романе Мальцева против Лузина и его сообщников, подпевал, покровителей выступают единым фронтом партийцы-руководители, коммунисты-колхозники, идущая вместе с ними трудовая народная сила. Но главным вдохновителем и Ксении, и Мажарова, и доярки Гневшевой, своего рода «огненным знаменем», олицетворяющим непримиримость этой борьбы, становится, по воле автора, Егор Дымшаков.

К весьма сходному характеру в поисках основного идейного противника Орлову обращается и Фоменко. Так появляется в «Памяти земли» Степан Конкин. Большевик, председатель сельсовета, израненный, потерявший здоровье в боях за Советскую власть, он становится в романе как бы реальным ее воплощением, живущей в народе все эти годы непобедимой и негасимой идеи пролетарской революции.

Почти откровенная символичность конкинского характера далеко не всегда идет ему на пользу в смысле собственно художественном. Зато она легче легкого позволяет выявить его, а тем самым и дымшаковскую литературную «родословную».

В конкинских биографии, да и в характере есть откровенные ассоциации с шолоховским Нагульновым и несомненные «давдовские» штрихи. Мало того, что по происхождению он рабочий из Ростова и на село пришел двадцатипятилетним! Он, подумывая насчет огнемета для виноградников, не забывает, что какой-нибудь Фряничихе «даже паршивенький, источенный червем подокожник в ее хате — как воз дух...» И как бы не сжигал его неумный пламень преобразования планеты, он никогда не решится перешагнуть через Фряничиху с ее тревогой и болью, с ее глупой, себе же в ущерб, бабьей, крестьянской жадностью, не оторвет ее от этого подокожника силком, приказом, как хотелось бы Орлову. Он, Конкин, не жалея своих сосчитанных дней, своих изъеденных в ключья легких, сделает все, чтобы зажечь даже Фряничихину душу.

Эти мысли Конкин высказывает секретарю райкома Сергею Голыкову — тому самому, кого Орлов сначала прочит в свои ученики и преемники, щедро делясь с ним опытом и секретами «профессионального руководства». Но Сергей, вчерашний фронтовик, выходец из крепкой шахтерской семьи, едва встретившись с Конкиным, покоряется ему безраздельно. Он еще не «раскусил» Орлова, еще уважительно прислушивается и приглядывается к нему, но всем существом, жаждущим правды, всей партийной своей душой и подлинным демокра-

тизмом своей натуры тянется к неугомонному, круто-суровому в суждениях и требованиях сельсоветчику.

И очень быстро Конкин (вспомним Игната Гмызина и Сашу Комелева!) становится подлинным идейным наставником молодого руководителя, потому что, выиграв бой, который ведет он за Сергея, он выигрывает и все остальное. Ведь коммунист Конкин — тоже «профессиональный руководитель» и тоже «ведет хозяев». Но в отличие от Орлова он делает это по-ленински, так, чтобы каждая из «пятисот напередодных доярок» почувствовала и реализовала свою хозяйскую власть, ответственность и право. И, добиваясь этого, он постарается найти ключ к каждой из пятисот, ибо органически не переносит официальщины.

Конкин «воспитывает» не только Голикова. «Школу» партийной и советской руководящей работы проходит у него молоденькая Люба Фрянскова, на глазах вырастающая в толкового и деятельного организатора-вожака. Под постоянным влиянием Конкина находится Настасья Щепеткова. Его своеобразным «близнецом» по характеру и настрою выступает в романе Валентин Голубков — этому тоже слышится шум еще нерожденного моря, та же присуща ему нагульновская отчаянность. За Конкиным дружно тянется местная комсомолка — он особенно внимателен к молодым, им же по сердцу его горение...

В то же время следует подчеркнуть, что все эти «подопечные» Конкина и его «наследники» отнюдь не пассивны и сами по себе. Прежде всего это относится к Сергею Голикову. Уже говорилось, что «притянул» его Конкин как раз потому, что в самой натуре Сергея, в политическом его сознании господствовали ленинские принципы отношения к делу и людям, воспитанные и выверенные всем ходом нашей жизни. Не чувствуя поначалу никакой тяги, тем паче — любви к сельскому хозяйству и образу бытия, будучи человеком насквозь «городским», убежденно видя свое призвание в труде инженера-конструктора, Сергей долго не может «найти себя» на руководящей партийной работе в районе: ему все кажется, что его направление сюда — ошибка, что он не по месту и место не по нему.

Однако даже при этих колебаниях он не способен ни на йоту поступиться своей партийной совестью, когда сталкивается с фактами, привычными для Орлова. «Не уважают нас с вами колхозники. Не составляем мы с ними одного коллектива, не дружим, а только командуем. Их жизнь и наша — разные жизни», — волнуется он. И этот крик души: «Не привыкну! Не согласен!», крик, который кажется Орлову лишь проявлением неопытности, молодой горячки, выражает ту самую суть его, ту «куйму людского», которая особенно дорога Конкину в Сергее. В полном согласии с автором Конкин считает это свойство синонимом подлинной партийности.

Это как раз и есть та «изначальная

активность», которой и ныне так заметно недостает Соколову у Шундика. Именно она бросает Голикова в атаку на Орлова в тот момент, когда вроде бы еще и речи не может быть о крушении орловской «руководящей» карьеры. В этой «главной» воинствующей правоте Голикова — залог его силы, гражданского, партийного мужества, стойкости. Отсюда и та настойчивость, с которой Сергей, не страшась испортить свою репутацию в глазах вышестоящих руководителей, добивается кормов для «аварийных» степных колхозов, что, было, уже предоставил горькой судьбе Орлов или, вопреки тому же Орлову, предоставляет переселенцам самые широкие хозяйские полномочия в выборе нового места для хутора. При этом он борется с Орловым и «орловщиной» не только «во вне», но и «внутри» самого себя. Трезвый голос, похожий на голос Орлова, не однажды начинает звучать в его душе, откликаться на орловские сентенции. Ведь они так порой убедительны, ведь и впрямь куда спокойней и удобней плюнуть на интеллигентские самокопания, быть деловитым. Орлов-то не одинок, «флюиды», питающие его философию, словно бациллы, незримым множеством носятся в атмосфере тех лет, и так легко-заманчиво сделать карьеру, шагая по тем же ступенькам, по которым уходит в вышние, столичные сферы сдавший позиции в районе, но отнюдь не сдавшийся голиковский противник!..

Но время, по большому счету, дышит другим. И мощь страны стрелами гигантских кранов колышет небо над Доном и над плотинной!..

Очень важное это свойство «Памяти земли» — живое, образное чувство большой истории народа, особенно же — революционной его истории. Постоянно присутствуя в романе, оно позволяет автору найти правильное соотношение масштабов изображаемого, ориентировать развитие характеров и конфликтов. Оно наполняет книгу дыханием исторического оптимизма — самые драматические эпизоды, воссозданные здесь, вплоть до смерти Конкина, переживаются нами с постоянным ощущением этого. «Что ж и детей рожают, — плачут. Больно ведь. И социализм строят — веселятся через раз, — размышляет Настасья. — Даже сивок-бурок заменяешь на мощную технику — и тоже с переживаниями. А ну заменялось бы наоборот!..»

Обращение к истории как к главному «арбитру» происходящего заметно выделяет роман Владимира Фоменко в ряду рассмотренных нами книг. Оно делает его своего рода «переходным звеном» от них к произведениям, где тема и образ Времени приобретают решающее значение в изображении колхозно-деревенской жизни. «Шолоховская» природа «Памяти земли» еще больше выделяет названное качество, поскольку именно вторая книга «Поднятой целины», вышедшая в конце пятидесятых годов, естественно «возглавила» этот новый «исторический» ряд.